

ДОКТОР ЖИВАГО



ПЕРВАЯ КНИГА

Часть первая ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». — «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марию Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоюет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких, облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшие-

го мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались как бесноватые и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, то что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, домá Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием «Живаго», и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику: «к Живаго!» — совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридешатое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осьпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась

в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах бочком, сутуло и перекинув нога за ногу в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямокой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала вприсядку под брэнчание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Николаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбежались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная Кологривовская панорама с блестящей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Душлянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который наверное презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу

стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает, — диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить: за отчетный год, — говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пушу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом, — говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— М-да, — мычал Иван Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем, это главные составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Каллигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мра-

морных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопред, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да бог с вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налюбуйешься! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час, — сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желтосиний поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно, — сказал Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном Писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святой, — молился Юра, — утверди ум мой во истиннем пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рай, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка, — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопритченную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит, — как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-резвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечную пружину оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствии его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, кото-

рой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что, когда он вырастет, он все это распушает.

Вот и сейчас никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие — что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся — видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина наверное уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами седеющие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирною косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро, без выражения стоял его приятель и со-

сед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкой. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивались около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастия.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шелапут, уже наполовину невменяемый. Не стеснясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице-жене, потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться.

К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно отраженную и, может быть, не ему предназначенную, нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городских. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заматался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати. Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую. Он слышал,

как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать, — сказал Веденяпин, — пройдишь, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унижительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Выходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к выскочкам материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! — подумал он. — Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — вот я прикажу ей», — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать, из грузинских княжон Эристовых, была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Но-

ченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит она имеет право заирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, — несколько раз повторил он про себя. — Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервующийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевинкой уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреня лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться, — сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй, — сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила: «Сумасшедший!» — и он также по-взрослому сказал: «Прости меня».

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, невдалеке от того места, где Ника утром увидал медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею, и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

Часть вторая
ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в которых училась Надя Кологривова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Ларю в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы: лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество мебели. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания.

Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или Консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекри-

чать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал», «Ейный», «Амалькина присуха», «Буйвол», «Бабья порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише, ты не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комодке...

— Ну да, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Кверху лапки! Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама — как это называется... Ведь он — мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнохивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос были под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинувши руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было открыто. Лара слышала, как гроыхавшая вдали пролетка

съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отрывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного Ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже — в мыслях рисовала себе Лара — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты няnek с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, — думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном, маленькая дочь-имениница. По этому случаю веселились взрослые — танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: „Амалия, берегите Лару“. Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали неодетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКТОР ЖИВАГО. *Роман*

Первая книга	7
Вторая книга	241

ПОВЕСТИ

Апеллесова черта	519
Детство Люверс	538
Воздушные пути	587
Охранная грамота	598
Люди и положения. <i>Автобиографический очерк</i>	684